



Понедельник

БАБОЧКА



Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой: потягучей давай, пораспевнее.

Затянули на два голоса еще медленнее, тише:

— *«Всякую шаташася языци, и людие поучашася тщетным...»*

Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости, он мог хоть весь Псалтырь прогундосить от корки до корки.

— *«Предсташа царии земстие, и князи собрашася вкупе...»*

Ага! Уронил голову на грудь, засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать. Но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий.

Посему затеяли молчаливую игру в гляделки, кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он умел строить зверообразные рожи — то глаза к носу сведет, то пальцами растянет рот до ушей, а Истомка был смешлив. Начнет кинуть — на длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы, ну и смаргивал.

На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число «Лета 120-го августа

Седмица Трёхлазого

10 дня в понедельник», проигравший согласно уговору накалякал стилусом: «Аз Истомка Батури дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно, а во-вторых, вдруг Гервасий пробудится? За такое глумление над наукой быть Истомке драным иль, хуже того, посаженным на сухоядение, хлеб с водой.

Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубокий и можно пошептаться.

— Сегодня понедельник. Твоя Бабочка придет. Хорошо б земляники принесла, — замечтал Истомка.

— Какая земляника в августе. Сейчас смородина, малина.

— Тоже неплохо бы.

Шептаться они могли, а встать из-за стола и уйти ни-ни. Даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится, проверено.

Занятия проходили в Дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырская братия. Посреди палаты — каменный столп, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской, и полы тоже дубовые — потому так и звалась, Дубовой. Тем доскам лет сто или двести, и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не паклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, иные в вершок и даже в два вершка. Там, внизу, своя жизнь: копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора.

Сама Дубовая палата находилась в Трапезном корпусе, единственном каменном строении Неопалимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный, были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братии считалось до полутора сотен, но пять лет назад литовские люди иноков порубили и всё пожгли, только Трапезная и устояла. Из монахов уцелел один Гервасий. Говорит, что чудом Господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в Дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик: две обшивные доски крепятся на незаметных петлях, и в стене малая ниша — прятать ценное. Когда напала литва — наскоком,

неожиданно, так что и ворот затворить не успели, отец Гервасий, монастырский книжник, сидел в Трапезной, чинил переплеты. Спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и четыре книги, какие успел схватить: букварь, псалтырь, «Часослов» и «Смарагд веры». Ими, оставшись одинешенек, и кормился.

Сначала он пробовал брать плату с путников за ночлег. Рядом проходил великий Смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого, литовского, разорения были и другие. Кто только не озоровал: поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание, почти целое, и хозяином в нем Гервасий. Однако жить постоянным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили — спасибо, если не прибьют. Прочие же крались тихо и укромно, обочинами. Да и платить за ночлег им было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью соли, парой репок или морковок. Давно подход бы монах от таких прибытков, если б не учительство.

А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия два ученика: Маркел с Истомкой.

Маркел — потому что Бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка — потому что его родитель, боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел: дал связку вяленой рыбы и мешок муки за призрение сынка, а сам ушел спасаться куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей.

Но рыба с мукой давно съедены, воевода бродил невесь где или, может, давно сгинул, и Истомка теперь жил нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял, а плату давал только Маркелка, верней Бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали.

Седмица Трехлазого

...Под полом зашуршало громче обычного. Может, залезла приبلудная кошка подхарчиться мышами, но Маркелка решил со скуки попутать приятеля:

— Кикимора заворочалась, — шепнул он. — Тоже и ей жрать охота.

Истомка забоялся, он был робкий.

— В опоганенных монастырях всегда нечисть селится... — Заежился. — Эх, сыскать бы где настоящую обитель. С церковой, с братией, с кельями. Затвориться бы от всего... Жить мирно, на службы ходить, послушания исполнять, молиться. То-то отрада, то-то счастье.

Маркелка фыркнул.

— Дурак ты. На что тебе в монахи? Ты ж дворянский сын! У тебя родовое имя есть, а вырастешь — будет и отчество. Нацепишь саблю, сядешь на коня, будешь служить царю, как батька — воеводой.

— Чем служить? — Истомка кисло вздохнул. — Поместья нету, дома нету, крестьяне разбежались. И кому служить-то? Царя тоже нету. В Москве ляхи, под Москвой казаки, да рязанское земское войско, да теперь еще, вишь, какое-то нижегородское...

От беспокойного придорожного житья была единственная польза — проходящие-проезжающие рассказывали, что творится на Руси. А творилось который год одно и то ж: все со всеми воюют, все друг дружку режут, в поле шалют разбойники, в лесах — шиши, в городах — тати. Еще есть ночные оборотни — днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят.

— В монастырь надо, в хороший. Там тихо, там спасение, — всё тосковал Истомка.

— Жгут и монастыри. Забыл? Выгляни в оконце, полюбуйся.

Приятель покосился на узкое окошко с выбитой рамой. Оттуда посмотреть — видно порушенные стены, пепелище, крест над братской могилой.

— Тогда давай в лес уйдем. Попроси Бабочку. Пусть заберет тебя. И меня с собой возьмите, не оставляйте здесь.

Глаза Истомки опять наполнились слезами, уже не от смеха. Про лес он сказал без надежды, а чтоб себя пожалеть.

— Там хорошо, — согласился Маркелка. — Не пойму, отчего люди леса боятся. В чащобе и захочешь — не пропадешь. Она накормит, напоит, укроет. Хищный зверь без причины не нападет, а о злых людях лес издали предупредит. Хлеба только нет, но на кой он нужен? Бабочка из грибной муки с травами знаешь какие лепехи печет? Их горячие трескать — ничего лучше нету.

Оба сглотнули. Истомка от голода, Маркелка от воспоминания, как хорошо жилось в лесу. Прошлой осенью Бабочка чуть не волоком притащила внука в монастырь, на учение-мучение. Она сама девчонкой росла с монашками, читала книги. Говорила, что без книжного знания прожила бы свой век, как куница или глупая белка, думая, будто лес и есть весь мир. Своего сына, Маркелкиного бату, Бабочка мальчиком тоже отдала учиться, а потом отпустила погулять по белому свету — чтоб после, когда вернется, не тосковал от лесной жизни, а понимал: в ней одной воля и покой. Батя гулял по миру шесть лет. Ушел отроком, вернулся мужем. И жену привел. Она была городская, чащи-болота боялась, поэтому родители поставили избушку на краю меж лесом и полем. Там Маркелка и родился, но ничего этого — ни избушки, ни поля, ни отца-матери не запомнил, маленький был. Зато Бабочка была всегда, и деревья над головой, и крик тридцати разных птиц, зимой треск очага, летом комариный звон. Мошкара висела над болотом тучей, но жалилась только в самый первый день. Если мошек-комаров не бить, не обижать, а приговаривать: кушайте, детушки, насыщайтесь, тоже и вам жить надо, то потом они уже не трогали, а лишь звенели радостно. Плохих людей в лесу не важивалось. Никаких не важивалось. Не добирались они до глухой чащи, не знали пути на болотный островок, где Маркелка жил с Бабочкой, и был он в лесу как царевич при царице.

И от такого вот привольного жития угодил в каменный плен к Гервасию. Главное, все четыре книги давно уже вызубрил наизусть, но чертов монах врал Бабочке, будто ведаёт еще некую сокровенную науку, до которой Маркелка пока не

Седмица Трехлазого

доучился, а нет никакой науки, просто старый брехун боится остаться без лесных приношений.

— А знаешь чего, — шепнул Маркелка и еще сам себе кивнул в знак решимости. — Нынче же скажу Бабочке, что боле тут жить не желаю. Или пускай Гервасий ей скажет, чему он меня недоучил, или уйду. И тебя с собой возьмем. Хочешь?

— Хочу! Очень хочу! — вскричал Истомка в голос.

Монах дернулся, разлепил веки.

— Пошто орешь? Поди-тко, ученик нерадивый. Персты на стол.

И указкой Истомку по пальцам, по пальцам.

Тот запищал, заканючил, а Маркелка на старика глядел дерзко. Его Гервасий никогда не наказывал. Бабочка, отдавая внука в учение, бить его не велела. Монах удивился — как это учить без битья? Всех бьют. Она ему в ответ: «Пускай всех бьют, а моего бить не будут».

Так и вышло: воеводского сына учитель и лупил, и на хлеб-воду сажал, и заставлял чистить нужное место утробной потребности (это он так называл нужник), а Маркелку, безродного лесного опенка, не трогал. Говорил, что жалеет сироту. Ага, пожалеет он. Просто времена теперь на Руси не те, что прежде. Это раньше было: кто воевода, тому и сытно, а теперь наоборот — кому сытно, тот и воевода.

— Где твоя бабушка-то? — проворчал монах, устав махать указкой. У него громко заурчало в брюхе. — К закату время. Не придет, старая грешня, нам и вечерять нечем.

— Придет. Только она не бабушка, сколько раз говорено. Она Бабочка.

— И то верно. Бабочка и есть. Не бабка, а не поймешь кто. Живет насекомым образом, без указа и порядка, на исповедь не хаживает, венчаной женой никогда не бывала, Бога не боится.

Бога Бабочка правда не боялась, и ничего не боялась, но что прожила не венчаной — это старик врал.

Был у Бабочки муж, а Маркелке дед. Какой положено — венчаный. Бабочка говорила: лес их повенчал, ручей благословил. И жили они ладно. Только недолго.

Про отца с матерью Бабочка все время по-разному рассказывала. То-де они на юг, на вольный Дон, за счастьем ушли, то на восток, за Сибирский Камень, а когда Маркелка был маленький — что обратились журавлями и улетели за тридцать земель. Зато про деда всегда говорила одинаково. Что он был веселый, вольный человек, лесной охотник. Его медведь задрал. Бабочка за это медведей не любила и в свой лес не пускала, а шкура того шатуна, что деду когтем пробил висок, поныне лежит в избушке на полу.

Деда тоже звали Маркелом. И отца. «Один Маркел не пожил, второй сгинул, а ты, Маркел Третий, будешь жить долго», — говорила Бабочка. И во всем она так: если что затеяла, нипочем не отступится.

Гервасий, правда, про батю с матушкой врал, будто они померли в большое моровое поветрие. Десять лет назад Господь наслал на русских людей тяжкую кару, чтоб не грязнились в грехе. Три года подряд осенью земля родила мертвый хлеб, зимой стояли великие стужи, а летом воды делались болезненны. Кто не померз в зимний холод и не посох от голода, те помирали от брюшной скорби. И людишки в те годы роптали, сетовали в своем неразумии, что вот-де, велика кара, а то еще была кара малая. Настоящий Божий гнев был явлен Руси, когда никто не покаялся — ни царь Борис, ни вся держава его. И тогда ополчил Господь на нераскаянных чад своих сонмища бесов: и литву, и ляхов, и казаков, и гилевщиков, и татар, и мнимых царей с царевичами. Гервасий мог про это долго плакать, не остановишь.

Но Маркелка монаху не верил, верил Бабочке. Батя с матушкой живут себе на донском или сибирском просторе и когда-нибудь объявятся, сынка проведать.

А монах всё глядел на Маркелку, жевал губами.

— Ох, сирота ты убогий. Что с тобою будет? Господь наградил тебя великой памятью и мог бы ты стать ученым книжником, но не станешь, ибо Он же наказал тебя непоседливым нравом, дерзостью и быстроумием. Сугубая это для человека беда — быстроумие. Сказано: кто разумом скор, скорее и сгубится. Трепещу я за тебя, Маркел. Вырастешь ты шпынем бес-

Седмица Трёхглазого

смысленным, к Божьему и людскому закону непочтительным. С такими знаешь что бывает? Вешают их веревкой за шею. Или, того хуже, цепляют железным крюком под ребро, и виси, пока не сдохнешь. То и тебя ждет, коли не умиришься нравом.

Гервасий с Маркелкой часто так разговаривал: бранить не бранил, и слова вроде участливые, а злые. И глаза такие же — будто две колючки.

— Ты раньше меня сдохнешь, — огрызнулся Маркел. — Вот нынче уйду с Бабочкой, околеешь тут с голоду.

Говорить такое учителю, конечно, нехорошо, а только нечего ему прикидываться добреньким, когда сам весь сочтется ядом.

Монах устремил взор к потолку. Чувствительно, со слезою возгласил:

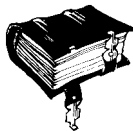
— Освободиши от духа моего душу мою! Дай смерти костям моим! Не вечно же мне жить в долготерпении! Отпустиши мя, Господи, тяжко бо житие мое! Ныне же, в сей самый день, яви мне злосчастному Свою великую милость! Изыми мя отсель, еже не померкло еще сегодняшнее светило!

И долго молил Бога о смерти, прибавляя к плачу много-страдального Иова собственные жалобы, так что Маркелке сделалось совестно: зачем обидел старого старика? Даже заколебался, просить ли сегодня Бабочку, чтобы забрала с собой. В самом деле околеет ведь Гервасий без лесного корма.

Но тут Истомка, топтавшийся у оконца, радостно закричал:

— Идет! Идет!

Монах сразу жалиться перестал, а Маркелка вприпрыжку понесся к двери, скатился по ступенькам каменной лестницы, вылетел наружу.



Она уже подходила к крыльцу — легкая, быстрая, будто порхающая над землей. Издали поглядеть — не женка, а муж, даже юнак, потому что в штанах лосиной кожи, кожаной же



свитке, на голове зимой и летом меховая шапка, из-под которой на спину свисает волосяной хвост. Но вблизи видно, что лицо морщинистое. Медленный взгляд тоже не молод, а вприщур и приглашенный, будто обращен внутрь себя. Это от лесной жизни, где слух нужнее зрения. Бабочка слышала почти так же чутко, как Каркун с Каркухой — воронья пара, жившая под крышей лесной избушки и карканьем извещавшая о чужих за полтыщи шагов.

— Оголодали? — засмеялась Бабочка, скаля крепкие желтые зубы. Хлопнула Маркелку по плечу, взъерошила волосы. Он привычно подставил под щелчок лоб, где была такая же круглая родинка, как у Бабочки, только у нее розовая, а у него вишневая.

После щелчка ткнулись друг в друга лбами — всегда так делали после разлуки.

— Забери нас с Истомкой отсюда, — быстро, пока не вышел Гервасий, попросил Маркелка. — Ничему он нас больше не научит, сижу тут без толку. Истомка в лесу жить не умеет, но научится. Он парень ничего, пугливый только. На охоту не